

АНЕКДОТ

Рассказ

Его тоже поразила эта болячка: он решил писать. Он хочет, чтобы мы занимались этим вместе. Бензин, мол, ваш, идеи наши. Отличный человек, но не хочет понять, что у меня и своих идей хватает.

— Ты занимаешься не тем, — говорит он мне. — Давай сделаем сценарий. Кино — это самое главное сейчас, самый верный шанс выскочить.

Он пытается меня раздражить:

— Подумаешь, рассказы в две с половиной странички! А кому они нужны? А сколько за них платят? А сколько их нужно, чтобы набралась книга? Пора бы стать умнее... Это давнее мое несчастье: все советуют стать умнее, но не говорят, как это сделать.

А он пытается растормошить меня:

— Для кино самое главное — анекдот. А у меня, знаешь, какой анекдот!.. Хочешь?

Я хочу. Я уже знаю эти его киношные словечки: «анекдот», «в порядке бреда», «я отношусь к тебе с нежностью»... Когда он успел их нахвататься? Немолодой уже человек, а восприимчив, как ребенок. Но я хочу послушать. Рассказывать он умеет.

Для него настоящая жизнь закончилась в день, когда закончилась война. Я знаю, что он будет рассказывать о войне, и оба мы как бы помолодеем. Рассказывая мне, он не станет присочинять. Это, рассказывая нынешней молодежи, нужно присочинять, чтобы далекая, отглянцованная книгами и кино война казалась интересной. Нынешние молодые равнодушны к пережитой нами войне, как к чужой болезни.

— Представь себе оккупированный немцами город, — начинает он. Мне это совсем не трудно. Почти пустые улицы, состояние приниженности и вечное ожидание опасности, приказы на двух языках, взорванные мосты и дома, молчаливые заводы, голод и повешенные на балконе консерватории. А теперь представь, как должен был себя чувствовать в оккупированном городе человек, который совсем недавно был здесь самым первым и самым главным, — секретарь горкома партии. Гнуснейшее состояние! Полгода не прошло с тех пор, когда только и слышалось: «Иван Иванович сказал... Иван Иванович дал указание... Нужно доложить Ивану Ивановичу...». А теперь Иван Иванович жметесь к заборам и выбирает закоулки, хотя узнать его почти невозможно, такой он грязный, волосатый и оборванный. Таким он стал, конечно, для конспирации... На балконе консерватории — двое повешенных. Парень и девушка. Почти дети. Они расклеивали написанные от руки листовки. Листовки лета 1942-го! Несколько упрямых общих фраз,

которые напоминали заклинания. Иван Иванович не может не чувствовать себя виноватым перед этими детьми, хотя его, может быть, ждет такая же судьба. Уж больно рискованно было в его положении идти сюда. Пришлось. Смелость? Сам Иван Иванович сказал бы: осознанная необходимость. Он часто выступал на семинарах пропагандистов в горьком и любил такие слова. ... Вроде бы все было сделано для того, чтобы его не схватили. И все-таки его схватили. Это же только подумать — в городе, где он был самым первым и самым главным, где во время выборов всегда висели листовки с портретами Ивана Ивановича («...Родился в 1898 году в семье рабочего. Трудовой путь начал мальчиком-лампоносом на шахтах Донбасса. В 1916 году вступил в партию... После окончания Промакадемии был директором завода. С 1937 года на партийной работе. Показал себя талантливым организатором, безгранично преданным идеям партии Ленина-Сталина...»). Его схватили грубо и бесцеремонно. Били прикладами, пинали сапогами, швырнули в машину. Сказать бы перед войной, что такое возможно! ... Странно, но когда его остановили, он прежде всего обратил внимание не необычную бляху, которая висела у солдата на груди. Вначале подумал, что это какой-нибудь фашистский орден, но потом напряг зрение (плохо все-таки без очков!) и прочел: «Feldgendarmerie». Цепь, на которой висела эта широкая, во всю грудь бляха, пряталась под воротником кителя. Такая же бляха, только висящая на шее остромордой овчарки, была нарисована на коляске стоявшего рядом мотоцикла. Очевидно, собака с бляхой была эмблемой жандармского подразделения. И он вспомнил увиденное перед этим — дом, на двери которого написано: «Propagandaabteilung». А рядом — машина с эмблемой: желтой уткой. Черт возьми! Видно, у них эти эмблемы придумывали люди, не лишённые эдакого циничного юмора. Эта бляха поразила и отвлекла его, помогла сохранить видимость спокойствия на то время, пока жандарм изучал его документ. Но потом жандарм поднял голову в низко надвинутой на лоб каске и посмотрел на него профессиональным, таким ясным, лишённым чувств взглядом, каким натуралист смотрит на бабочку, прокалывая ее булавкой. У Ивана Ивановича все сжалось, как бы замерзло внутри и больше уже не отпустило. Он все понял, он тоскливо подумал: Филька нахомутал. Сделанный им аусвайс оказался сплошной липой. Не в характере Ивана Ивановича было махать после драки кулаками, но он подумал: за ошибки одного приходится расплачиваться многим. В самом деле, теперь, понятно, почему будто канули в этом городе разведчики Лешев и Макогоненко: у них были такие же аусвайсы. Эти же казавшиеся такими надежными синенькие бланки с липовой, изготовленной Филькой печатью были приготовлены для двух других ребят, которые должны выйти из леса завтра. Их тоже схватят, будут бить прикладами, пинать сапогами. А потом, измордовав до того, что родная мать не узнает, повесят, как тех двоих — парня и девушку, что раскачиваются сейчас на балконе конструктории. У Ивана Ивановича от сознания неотвратимости надвинувшейся беды все сжалось, в груди, и он не то, чтобы отчетливо подумал, а скорее почувствовал: вот и до меня дошел черед, пришла и для меня пора доказать,

что нет, недаром нас прозвали твердокаменными. Иван Иванович сцепил зубы и приготовился ко всему...

Я слушал внимательно, хотя покамест в этой истории не было ничего нового или необычного.

А мой приятель, сделав паузу, чтобы раскурить папиросу, спросил:

— Ну как анекдот?

Я пожал плечами.

Он пренебрежительно хмыкнул:

— Ты послушай дальше...

А меня все это начало раздражать. Вот только почему? Наверное, из-за самой обстановки. Или, может быть, из-за этого дурацкого, так не клеившегося сюда слова «анекдот»?

— ...Иван Иванович сцепил зубы, — продолжал мой приятель, — и приготовился ко всему: к ужасным пыткам и изощреннейшим издевательствам. Он знал — что бы с ним ни делали, его не заставят заговорить. От него они услышат только проклятия. А когда придет его последний час, он покажет, как идут на смерть настоящие большевики. Иван Иванович понимал, что история с аусвайсом стягивает одной веревочкой его с пойманными, очевидно, накануне Леушевым и Макогоненко, и все-таки решил не узнавать их. Он многое решил, пока его везли с окраины к центру города, где помещалось СД. А соскакивая с машины, подумал и о том, что все эти ожидания и приготовления могут оказаться преждевременными. Не исключено, что схватили его случайно. А что если так же случайно, не опознав, выпустят или пошлют куда-нибудь на работы? Уж тут-то он не растеряется... Ивана Ивановича завели в комнату, где были двое — один в черной гестаповской форме, другой в штатском. Они разглядывали его и злосчастный аусвайс, потом вполголоса заговорили между собой по-немецки. Тот, что в форме, негромко рассмеялся. Ивана Ивановича увели в битком набитую общую камеру. «И это все?» — подумал он. Появление новенького не вызвало большого интереса. Однако, осмотревшись, он обнаружил здесь Леушева и Макогоненко. Они сделали вид, что не знают друг друга. Вернее, Макогоненко никакого вида не делал: он лежал со сломанными ребрами и выбитым глазом. «Значит, со мной разговор еще впереди...». И вот его вызвали. Не обошлось без досадной накладки. «Ковалев Никифор Петрович!» — крикнул полицейский из русских. Иван Иванович замешкался, забыв на какое-то мгновение, что Никифор Петрович это он и есть. Осталось ли это незамеченным? Его вели вниз, в подвал. И привели, куда бы ты думал? В мрачный застенок?..

Мой друг сделал драматическую паузу.

— Нет, милый. В баню. Полицейский велел раздеться, дал кусочек немецкого, похожего на глину мыла и приказал лезть под душ. Иван Иванович увидел в этом какой-то подвох. Но подвоха не было. Была холодная и горячая вода. Давно не мылся с таким комфортом. Купанье не доставило, однако, обычного удовольствия. «Что же будет дальше?» А после душа он попал в руки парикмахера. Иван Иванович ничего не понимал. Парикмахер

сделал ему полечку, косые виски, сбрил бороду и начал подстригать усы. Иван Иванович попытался воспротивиться: «Сбрейте усы». Но парикмахер (им был все тот же полицейский) сказал: «Не велено». Он подстриг усы «щеточкой», как Иван Иванович носил до войны, потом отошел, полюбовался на свою работу и сказал: «Готово». Иван Иванович понял, что провалился. Его каким-то образом опознали. Но разве он не был готов к этому? Он был готов ко всему. Допросы? Попытки? Казнь? Хорошо же, они увидят, что нас недаром прозвали твердокаменными... Он ждал главного, он готовился к мученичеству, но полицейский снова отвел его в камеру. На этот раз появление Ивана Ивановича вызвало движение: его узнали. Да и сам он держался иначе. На людях и смерть красна. Прятаться, притворяться не имело смысла. Он подобрался, поднял голову... Леушева и Макогоненко в камере не было. Где же они? Один из арестованных (его лицо показалось Ивану Ивановичу знакомым) заметил этот беспокойный, ищущий взгляд и, глядя в упор на Ивана Ивановича, скорбно, многозначительно закрыл глаза и сложил крестом два пальца... Когда под вечер его снова вызвали, в камере стало тихо. Провожали молчаливым. Лязгнула дверь, и гулко зазвучали шаги в пустом коридоре. И опять комната, где за столом сидят двое — один в форме, другой в штатском. Иван Иванович стал у порога, заложив руки за спину и подняв голову, как это нарисовано в картине «Допрос коммуниста». Эх, что говорить — хоть он и был готов ко всему, а так хотелось жить и быть счастливым!.. Штатский оторвался от бумаг и сказал по-русски: «Подойдите ближе и садитесь». Иван Иванович сел лицом к ним на единственный стул, который стоял перед столом. Положил руки на колени. Из-за этих рук, которые некуда было девать, ему показалось, что стоять было бы удобнее. Стоя он чувствовал себя как-то тверже, уверенней. Иван Иванович подумал, что немцы, наверное, и об этом знают, а раз так, положил ногу на ногу и сел свободнее. Тот, что был в штатском, поднялся и пошел к двери. Когда он оказался сзади, Иван Иванович невольно напрягся, как перед объективом в тот момент, когда фотограф говорит: «Не шевелитесь — снимаю». Иван Иванович фотографировался множество раз для анкет и самых разных документов (паспорт, партбилет, военный билет, удостоверения члена горкома, обкома, депутата горсовета, Верховного Совета...), но всегда напрягался, даже вздрагивал от слов фотографа: «Не шевелитесь — снимаю». Ничего не мог с собой поделывать. Напрягся он и сейчас, когда этот сукин сын, у которого кобура кокетливо-небрежно выглядывала из-под пиджака, оказался сзади. В комнате было тихо-тихо. И это продолжалось долго. А тот, что был в форме, в это время спокойно и внимательно рассматривал Ивана Ивановича. Иван Иванович почувствовал, как на него наваливается тоска и заставил себя подумать: «Жилы мотают, гады...». Он с трудом сдерживал желание оглянуться и увидел, что немец, который смотрит на него, понимает это. Он бы, наверное, все-таки оглянулся, если бы не был уверен, что немцы знают, кто сидит перед ними, и только ждут какого-нибудь проявления слабости. Так не получают же они этого! Наконец тот, что был в штатском,

щелкнул выключателем, зажигая свет, и, как ни в чем не бывало, отошел к окнам, чтобы опустить шторы...

— Ну, как анекдот? — снова спросил мой друг.

— Что-то похожее мне где-то встречалось...

Я думал, ответ огорчит его, но он только усмехнулся:

— Да? Послушай дальше. ...Итак, Иван Иванович был готов ко всему, когда гестаповец в форме, слегка улыбнувшись, сказал на хорошем русском языке: «Ну-с, господин секретарь, не будем терять времени... — Он помолчал и добавил совсем неожиданное: — Вы свободны». Иван Иванович не пошевелился. Он ничего не понял. Он ждал, что будет дальше. Он бы не удивился, если бы под ним разверзся пол и открылось ужасное подземелье, если бы вдруг послышался выстрел, если бы на него обрушился страшной силы удар. А гестаповец сказал: «Ну, чего же вы? Идите». Тот поднялся, и Иван Иванович тоже встал. Гестаповец протянул через стол руку, в которой была какая-то бумага. Иван Иванович не двинулся с места. Тогда другой, что был в штатском, взял бумагу и передал ему. «Это пропуск. Торопитесь — скоро наступит комендантский час»... Собрав все силы, Иван Иванович прошел через кабинет. У двери не выдержал — оглянулся. Однако никто стрелять ему вслед не собирался. Его преследовала мысль о выстреле в затылок или спину. Потом, уже на лестнице, он подумал: «Наверное, задержит часовой у выхода. А потом уже все начнется...» Но и часовой у подъезда, взглянув на пропуск, не стал задерживать Ивана Ивановича. Тогда мелькнула мысль: «Сейчас он будет стрелять, будто при попытке к бегству. Они не раз уже так делали...». И снова Иван Иванович не выдержал — оглянулся. Часовой шагал, повернувшись к нему спиной. Иван Иванович прибавил шаг. Он не чаял добраться до ближайшего угла. Ведь гестаповцы уже, поди, спохватились, поняли ошибку, послали погоню... Свернув за угол, Иван Иванович побежал. Потом подумал, что этим может привлечь внимание, и ринулся в развалины взорванного дома. Он продирался сквозь какую-то проволоку, через кучи щебня... Но ни криков погони, ни выстрелов не слышалось. Оказавшись на незнакомом пустыре, Иван Иванович упал в траву. Стемнело. Он не мог сообразить, где находится и, чтобы не напороться на часовых, решил заночевать здесь.

— Ну как? — в который раз спросил мой приятель.

— Давай дальше.

— ...Ему не удалось даже задремать. Лихорадило. После всех потрясений дня он чувствовал себя больным. «А что дальше?..» Единственно возможное объяснение поведения немцев: решили, следя за ним, обнаружить явки. Но почему же тогда позволили скрыться? Нет, не то. Однако явки, так или иначе, нужно забыть. На рассвете Иван Иванович пробрался к домику на окраине, где жила мать шофера, возившего его до войны на «эмке». «Иван Иванович! — воскликнула старуха шепотом. — А сосед вечер говорил, что вас немцы поймали. Сам, говорит, видел, как в гестапо тащили. Ну, слава Богу... А я было, дура, поверила. Не забыл, значит, нас Господь... Заходите быстрее, как бы ни увидел кто. Вчера еще двоих наших повеси-

ли. Одному перед смертью глаз выбили. На ногах не мог стоять. Подняли ироды, чтобы петлю накинуть...». Иван Иванович молчит. Во всей этой истории он вдруг почувствовал что-то липкое, даже стыдное. Вот ни в чем не виноват человек, а история эта пачкает его. Ничего плохого не сделал, а оказался в положении, когда нужно что-то доказывать. Такое уже было однажды в тридцать седьмом году, когда посадили его главного инженера, с которым Иван Иванович не то чтобы дружил, но, случалось, ездил на рыбалку. Однако тогда пронесло. Он чистосердечно покаялся в притуплении бдительности. Формулировку подсказал почему-то почувствовавший расположение к Ивану Ивановичу следователь. Сам Иван Иванович вначале калялся в потере бдительности, но следователь велел это вычеркнуть, заменить притуплением, потому что за потерю исключали из партии и могли даже посадить. Притупление выражалось в том, что Иван Иванович (он был тогда директором завода) знал, что главный инженер когда-то голосовал за какую-то платформу, и, однако, не только работал с ним вместе, но и ездил на рыбалку. Но тогда некрасивая история только слегка зацепила Ивана Ивановича. Он помог следствию разоблачить вредительство главного инженера и оказался чистым перед партией, даже был назначен спустя год секретарем горкома. С тех пор он разлюбил рыбалку, а когда появлялось желание выпить, пил дома и один. Тогда он тоже чувствовал, что вот ни в чем не виноват, а эта история пачкает его. Сейчас, однако, было гораздо хуже. Ведь даже старуха настожится, если ей рассказать, что произошло... Когда Иван Иванович забылся на куче тряпья, брошенного для него на полу, ему то ли приснилось, то ли припомнилось, будто он слышит, как смеются гестаповцы, вручив ему пропуск и оставшись в комнате одни. Хитрые, подлые твари! Они знали, что делали... В эту минуту Иван Иванович испытывал почти непреодолимое желание вскочить, вернуться назад, швырнуть им пропуск и потребовать то, что ему положено — пыток и казни. Тут же, впрочем, понял: это никому ничего не даст, ни в чем ему не поможет...

— Ну, каково? — опять спросил меня приятель.

— Давай дальше.

— А дальше нам давать нужно вместе. Анекдот я тебе рассказал. Остановка за сценарием. История с тридцать седьмым годом, конечно, не в счет — не все, что было в жизни, нужно тащить в кино. Мы не какие-нибудь ползучие эмпирики. Никаких раздваиваний и де-ге-рои-за-ций (правильно говорю?) у нас не должно быть. Мы должны показать несгибаемого человека, которого враги поставили в такое сложное положение...

— А ты — теоретик... — удивится я.

— Перестань. Все эти де-ге-рои-за-ции нам ни к чему. Что мы можем иметь? Острый, принципиальный конфликт двух идеологий. Гестаповец — умный, расчетливый, коварный — поставил, как ему кажется, нашего Ивана Ивановича в безвыходное положение. Кто поверит, думал он, человеку, который целым и невредимым вышел из СД?.. Вот тут и нужно показать силу нашего доверия...

— Как?

— Давай думать. За этим я и пришел. Ясно одно — гестаповец должен быть посрамлен.

— Конечно, — согласился я. — А чем кончилась эта история в жизни? Мой приятель долго собирался с мыслями.

— Понимаешь, положение было сложным. Рядовых-то бойцов Леушева и Макогоненко немцы все-таки повесили, а комиссара, старого большевика, секретаря горкома подстригли, побрили и выпустили. Сразу стал вопрос: «За какие заслуги?». Он нам рассказал все как есть, а начальник особого отдела (инструктором у него, кстати, в горкоме работал) опять свое: «Так за какие заслуги? Какое задание дали?» Мужик даже заплакал. «Я, — говорит, — с шестнадцатого года в партии. Я, — говорит, — под Царицыным лично с товарищем Сталиным встречался...». Сложное положение. А тут еще немцы зажали нас со всех сторон — ни пикнуть, ни охнуть. Да учти психологический фактор: на столе его пропуск лежит, а на нем подпись — «SS und Polizeiführer» такой-то. И сам он побритый, подстриженный, а мы обросли, как обезьяны...

— Одним словом... — перебил я приятеля, зная, что он будет говорить еще долго. Я не раз уже сталкивался с этой странной манерой людей, предпочитающих долго и нудно говорить о причинах своих поступков вместо того, чтобы коротко и ясно сказать о самих поступках.

— Одним словом, — вздохнул мой приятель, — я, чтобы закончить этот цирк, достал свой пистолет, оставил в нем один патрон и говорю: «На, Иван Иванович. Суди себя сам».

— А он поблагодарил за доверие и дисциплинированно застрелился? Что-то красиво очень. Кто его расстреливал? Ты сам или кто другой?

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, — сказал я. — Я на сто лет вперед все знаю.

Симферополь, 1999.

